Не могу поверить... Умер Вацлав Янович Дворжецкий. Дворянин, аристократ, рыцарь. Один из любимейших актеров и людей.

У меня на столе — запись нашего последнего разговора. Не позвонит, не скажет добрых слов. Не пришлет иногда открытку или письмо просто так, без повода.

Он умер в дни премьеры на телевидении «Белых одежд». Роль профессора Хейфеца была его 90-й ролью на экране. К премьере и готовилось это интервью. Но он захворал, слег в больницу у себя в Нижнем Новгороде и не мог завизировать текст. Беру на себя ответственность за эту публикацию.

Вацлав ДВОРЖЕЦКИЙ:

Вет. кав. б. — 1903. — 17 апр. — с. 7

«Homo sapiens — человек сопротивляющийся»

— Вацлав Янович, в двух своих последних работах в кино — до «Белых одежд» был митрополит в «Грозе над Русью» Алексея Салтыкова — вы создаете образы, по сути своей совпадающие с вашим собственным. Ваш митрополит до конца сопротивляется самодержавной жестокости Ивана Грозного. Ваш Хейфец восстает против скудоумия в науке. Но ведь и вы сами...

— Homo sapiens — существо разумное, а следовательно — всему неразумному сопротивляющееся. Так сложилось, что с юности пришлось противостоять обстоятельствам. Мог ли я, скажем, радоваться разорению и уничтожению своего старого дворянского рода, если всегда относился — и отношусь! — к своей родословной с глубочайшим уважением? Мог ли подчиниться большевистским догматам и схоластике, если с детства меня окружали люди одаренные, образованные, интеллигентные? Я видел, как их втаптывают в грязь за их прошлое, за их убеждения.

— Не детские ли впечатления и воспоминания уже в 19 лет сделали вас, как сейчас принято выражаться, диссидентом? А по-тогдашнему — антисоветчиком, врагом народа?

— До революции для всякого культурного человека было нормальным изучать философов, читать лучшую современную и классическую литературу. А тут, в конце двадцатых, стали сжигать книги. Горели Флоренский, Бердяев, даже «Солнечная машина» Короленко горела. Я учился в Киеве в политехническом институте. И мы создали у себя подпольную группу — группу освобождения личности (ГОЛ). Только за создание нелегальных групп тогда давали десять лет. Мы не были террористами, анархистами, мы — читали. Читали много, вслух, в том числе и по ночам — Спенсера, Ницше, Гегеля в оригинале, Федорова, «Бесов» Достоевского. Все это было строгой запрещенно.

— ГОЛ и привела вас в ваш первый лагерь? — И это, и мое дворянское происхождение, от которого многие скрежетали зубами. В де-

вятнадцать лет, со студенческой скамьи, меня забрали «туда».

Я сейчас анализирую то, что со мной произошло, и вот парадокс: иногда моя судьба кажется мне сложившейся на редкость удачно. «Там» я многое наблюдал, многое увидел и понял. До лагеря мне пришлось заниматься в театре — в глухой Медвежке довелось играть в самой, может быть, великой труппе в своей жизни. Лагерь собирали лучших людей страны, большую часть творческой элиты, цвет науки, там была огромная концентрация порядочности, мужества, доброты и — свободы. Это объективно, поверьте мне, и это не идет ни в какое сравнение с сегодняшней разобщенностью и отчужденностью людей, формально свободных.

В Соловках, на Беломорканале, в Сибири — везде, куда меня «перемещали», — мы уже ничего больше не боялись.

— Но ведь такое понимание свободы не могло не стать причиной не познавательного, а разрушительного для вашей личной жизни возвращения в ГУЛАГ.

— Отбыв срок с 1929 по 1938 год, я оказался на так называемой свободе. По существу, впрочем, во всяком случае для меня, была все та же зона, только большего размера и с меньшим числом блестящих людей. Жить ближе, чем в ста километрах от больших городов, нельзя, прописку нигде не получишь, работу соответственно — тоже. Приходилось мотаться с места на место. Но мой ангел-хранитель помог мне выжить и продолжить жизнь нашего рода.

Я попал в Омск и стал интенсивно двигаться, интенсивно жить. Так лихорадочно живут люди, когда знают, что это ненадолго. Омск не был режимным городом, поэтому меня приняли в театр — сразу и актером, и режиссером. Там я женился, жена была балеринной. Там родился мой первый сын Владик, Владислав.

Ему было два года, когда за мной пришли. Началась война, и Омск тоже стал закрытым.

Мне прислали повестку о немедленном выезде. Я отказался уезжать, написал заявление с просьбой не трогать меня, так как я нужен театру, что подтверждали и его руководители. Через три дня после этого заявления меня и забрали. Кому был нужен под боком социально опасный элемент, имевший судимость по решению особого совещания по 58-й статье?

Отчетливо помню момент второго ареста. Я купал сына в ванночке. Он был очень болезненным мальчиком. И, когда зашли в комнату чужие люди, я только сказал им: «Дверь закрывайте, ребенок простудится». В нашей маленькой квартирке тогда жили эвакуированные, так что посторонние меня не удивили. Поднимаю глаза — стоят трое военных: «Сесть на стул, руки назад...» Перед уходом я обернулся в последний раз: «Владинька, не плачь, я скоро вернусь».

Вернулся... Через пять лет. Во внутренней тюрьме допросы, угрозы, унижения, требования подписать какие-то бумаги, доносы. Но я уже был опытен, держался независимо. Наточил на цементном подоконнике отрезок металлической скрепки от ботинок, чтобы в любую минуту перерезать себе вены и уйти из их рук.

Вернулся, когда кончилась война. Владика уже было семь лет. Это был волчонок, настоженный, враждебный. Мальчишки на улице дразнили его, что у него отец — немецкий шпион. Мать говорила, что отец на фронте. И то, и другое было ложью.

Снова поступил в Омский театр. Семья наша распалась. Сын очень долго не мог меня понять и простить, даже когда меня реабилитировали. Он никогда ни о чем не спрашивал, а я так никогда ничего ему об этом времени и не рассказал. Мы сошлись по-мужски, по-деловому и по-товарищески, когда

В Чехословакии после показа большого ку-ска из «Бега», Миша Ульянов не даст соврать, Владика тоже попросили выступить. И он выступил. С тостом. Мол, ввиду того, что я родом из многонациональной семьи — отец поляк, в матери вроде бы течет грузинская кровь, позволю себе грузинский тост:

«Жил человек в ауле. У него дом, жена, дети. И каждый день, и каждый год все одно и то же, и все плохо. И решил он посмотреть свет. Пошел на запад. Когда солнце зашло, лег спать. Чтобы утром не ошибиться, лег головой по направлению своего пути. Ночью мимо шли люди. И повернули его головой в обратную сторону. Он проснулся, пошел и пришел в собственный аул. А там все по-старому, все плохо. Так выпьем за то, чтобы нас не поворачивали во сне».

Такой тост в 69-м году, после советского вторжения в Чехословакию, да при дипломатическом корпусе... При Сталине только бы его и видели. Но было все-таки другое время, слава Богу. И когда он работал над Хлудовым, рылся в архивах, познакомился с семьей Булгакова, со многими писателями, поэтами, он стал другим человеком, он стал внутренне независимым.

Но материальные трудности и вся его неустроенность привели к тому, что однажды во время съемок — инфаркт. А этого не поняли ни он, ни окружающие. И он еще неделю снимался, пока его не свалил второй. Он тогда полгода лежал в реанимации в Ливадии. Тот срыв и предопределил его судьбу.

Тут как раз появилась первая в жизни квартира. Кооперативная. Он забрал из Омска мать, дочку. Сыну от последнего, тоже не состоявшегося брака надо было помогать. И он снимался, выступал на встречах, играл в спектаклях. Получал по сто рублей за спектакль — как много, как хорошо, скоро выкарабкаюсь. Иногда играл по десять дней подряд, до изнеможения, до потери сознания.

У меня осталась фотография его последней встречи со зрителями. На следующее утро за ним приехали в гостиницу, чтобы снова отвезти на встречу. А он... Через два дня его похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Ему было всего 39 лет.

Часто думаю: я же тогда, в Омске, когда ему было два года, мог круто, на 180 градусов, повернуть руль, отказаться от правды, от сопротивления. Ради сына, ради пайки. И он не съел бы в четыре года от голода мыло, и всегда был бы рядом со мной, и, может быть, жил бы легче, прожил бы дольше.

Но я не мог. — Простите, что причинила вам боль, заставив вспоминать. Только ведь вы сами мне как-то говорили, что людям надо или ничего не рассказывать, или рассказывать правду.

Как потом сложилась ваша судьба?

— Много лет живу в Нижнем Новгороде. До сих пор играю в местном драмтеатре. После 80 лет удостоился-таки чести получить звание народного артиста России. До этого никаких званий не имел. Как видите, много снимаюсь. Только вот с глазами стало плохо. Хорошо бы к Станиславу Федорову попасть, но мне до него не достучаться. Конечно, полностью реабилитирован, иначе как бы мне и моим сыновьям сделаться киноактерами?

— Многие узнали молодого актера Евгения Дворжецкого после фильма «Узник замка Иф», где он играл главную роль. Доводилось слышать предположения, что Евгений — сын Владислава...

— Жена — мой младший сын. Ему сейчас 32 года. Работает в Москве в Центральном Детском театре. По тому, что я видел, работает, мне думается, интересно. У него жена, ребенок. Он не ввязывается ни в какие политические драки. Во всяком случае до сих пор не ввязывался. И я ему этого делать не советую, как и своей дочери Тане, которая живет в Санкт-Петербурге. У меня заботливая жена, теплый дом.

— А жена не возражает, что вы теперь всегда носите бороду? Мне кажется, без бороды вам лучше.

— Бороду мне наши кинорежиссеры никак не дают сбрить. Эксплуатируют который уже год этот мой облик. Но я все равно сбрую, им назло. Может, дадут роль мягкого и покладистого дедка или молодящегося пижона в джинсах. Сколько можно воевать во всех ипостасях, в том числе и в актерской?

— Не успел — вылечить глаза, сбрить бороду, дожить до окончания своих «Белых одежд», сыграть покладистого дедка...

— Прощайте, родной, прекрасный, благородный человек! Прощайте, человек сопротивляющийся!

Валентина ПЯНКОВА.

Фото Владимира СЕРГЕЕВА.

Ветеранский журнал

17 апр. 93